

Кто во мне решает?

Философская книга о сознании,
свободе воли и человеческом выборе

Василь Пиксель

Василь Пиксель

Кто во мне решает?

<https://litres.ru/74694118>

SelfPub; 2026

Аннотация

Когда ты говоришь «Я решил», уверен ли ты, что знаешь, где началось твоё решение?

Почему одни мысли возникают сами собой? Кто выбирает наши желания? И если мозг начинает готовить действие раньше, чем мы его осознаём, можно ли считать себя настоящим автором собственной жизни?

«Кто во мне решает?» - философская книга-гипотеза о сознании, свободе воли, памяти, времени и человеческой ответственности.

Опираясь на научные исследования, жизненные истории и мысленные эксперименты, автор исследует границу между тем, что происходит с нами, и тем, что мы действительно выбираем.

Здесь нет готового ответа. Нет утверждения, что сознание управляет всем. Но нет и приговора, что свободы не существует.

Возможно, быть собой не значит знать происхождение каждой мысли. Возможно, гораздо важнее то, что мы делаем с мыслями, которые уже возникли.

И тогда главный вопрос звучит иначе:

Если не каждую мысль выбираю я, то кто во мне решает?

Содержание

ПРОЛОГ. МЫСЛЬ, КОТОРОЙ ЕЩЁ НЕТ	4
ЧАСТЬ I. ДО ТОГО, КАК Я ПОДУМАЛ	8
ГЛАВА 1 МЫСЛЬ, КОТОРУЮ НИКТО НЕ ПРИГЛАШАЛ	9
ГЛАВА 2 ЗА МГНОВЕНИЕ ДО РЕШЕНИЯ	23
ГЛАВА 3 МОЗГ, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДРУГИМ	38
ГЛАВА 4 ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ НАМЕРЕНИЕ?	52
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Василь Пиксель

Кто во мне решает?

ПРОЛОГ. МЫСЛЬ, КОТОРОЙ ЕЩЁ НЕТ

Попробуй сделать одну простую вещь.

Не думай о том, что будет дальше.

Не пытайся остановить мысли. Не заставляй себя молчать.

Просто прислушайся к следующей мысли, которая появится в твоём сознании.

Ты ещё не знаешь, какой она будет. Можешь предположить. Можешь попытаться направить её. Можешь даже решить подумать о чём-то определённом. Но тогда появится другой вопрос: откуда возникло само намерение подумать именно об этом?

Где находится начало мысли? В тот миг, когда ты её заметил? Или раньше — в памяти, сохранившей нечто важное, в ощущении, ещё не ставшем словом, в переживании, о котором ты давно забыл, хотя оно продолжает влиять на тебя?

Мы привыкли считать себя авторами собственных мыслей. Я подумал. Я захотел. Я решил. Три короткие фразы, которые кажутся совершенно очевидными. Но присмотришься

к ним. Когда ты говоришь «я подумал», ты описываешь уже случившееся. Мысль существует. Ты её обнаружил, узнал, назвал своей. Однако был ли ты её автором в том же смысле, в каком художник является автором картины? Знал ли заранее, какой именно она станет? Или только встретил её в момент появления?

Представь, что идёшь по знакомой дороге. В какой-то момент тебе неожиданно хочется свернуть. Ты останавливаешься. Почему? Возможно, вспомнилось место, где ты давно не был. Возможно, ты заметил нечто, чего не успел осознать. Возможно, тело устало от привычного маршрута. А возможно, всё началось с причины, которую ты никогда не сможешь восстановить.

Перед тобой две дороги. Можно пойти прямо. Можно свернуть. И вдруг обнаруживается, что одна уже кажется предпочтительнее. Когда именно возникло это предпочтение? До того, как ты остановился? Пока смотрел на поворот? Или когда спросил себя, куда хочешь идти?

Допустим, ты сворачиваешь. Через несколько минут расскажешь кому-нибудь, что решил изменить маршрут. И это не обязательно будет ложью. Ты действительно изменил его. Но означает ли это, что тебе известно всё, из чего сложилось решение? Вряд ли.

Более того, возможно, человеку вообще не дано осознавать каждую причину собственных поступков. Здесь возникает соблазн сделать слишком быстрый вывод: раз решение

начало складываться раньше, чем мы его осознали, значит, сознание ничего не решает. Но почему? Почему автор обязательно должен присутствовать при первом движении мысли? Почему мы не допускаем, что решение продолжает формироваться после осознания, что человек способен встретить возникшее желание, исследовать его, отказаться от него или превратить в действие?

Между желанием и поступком иногда проходит целая жизнь. Можно однажды захотеть уйти — и остаться. Можно захотеть причинить боль — и промолчать. Можно испугаться — и всё-таки сделать шаг. Что происходит в этом промежутке? И если первоначальное желание появилось без нашего разрешения, становится ли последующее действие менее нашим?

Возможно, мы слишком долго искали свободу не там. Мы пытались обнаружить её в точке рождения мысли, в самом первом импульсе, в неуловимом мгновении, когда ещё ничего не было — и вдруг появилось намерение. Но что, если свобода не обязана находиться только в начале? Что, если она проявляется также в способности изменять то, что уже начало происходить?

Это только предположение. Оно оставляет открытым самый трудный вопрос: если способность изменять решение тоже имеет предшествующие причины, в каком смысле мы свободны?

Не будем отвечать слишком рано. На перекрёстке ты ещё

стоишь перед двумя дорогами. Та, которую ты называешь своей, уже кажется чуть ближе; другая ещё не исчезла. Вопрос не в том, удастся ли поймать первое мгновение склонности. Вопрос в том, что произойдёт после того, как ты её заметил.

Когда ты скажешь «я выбрал», что войдёт в эти слова? Желание, которое возникло само? Сомнение, которому нашлось место? Действие, за которым теперь последуют последствия? Возможно, искать отдельного автора для каждого мгновения — значит неверно сформулировать задачу.

Ты делаешь шаг. У него уже есть предыстория, но ещё нет завершённого смысла. С этого различия и начинается наше исследование.

ЧАСТЬ I. ДО ТОГО, КАК Я ПОДУМАЛ

«Мысль приходит раньше, чем мы успеваем спросить, откуда она.»

ГЛАВА 1 МЫСЛЬ, КОТОРУЮ НИКТО НЕ ПРИГЛАШАЛ

Проснувшись, человек редко начинает утро с решения о том, какую мысль ему позволено иметь первой. Чаще мысль уже здесь. Иногда она приносит тревогу, которой не было в последнюю секунду сна. Иногда — неожиданную радость. Иногда — имя. Человек ещё не открыл глаза, а внутри уже идёт разговор, на который его никто не приглашал.

Это удивительно только до тех пор, пока мы рассматриваем себя как маленького хозяина, который сидит где-то за глазами и распоряжается всем происходящим. Стоит отказаться от этой картинки, и внезапность мысли перестаёт быть чудом. Мозг не останавливается по команде сознания. Память, ощущения тела, ожидания, привычные ассоциации, следы прошедшего дня — всё это продолжает участвовать в нашей жизни без обязательного объявления о начале работы.

Но объяснение ещё не ответ. Допустим, мысль возникла из множества причин. Почему мы узнаём её как свою? Почему мысль «надо позвонить» не воспринимается как голос чужого прохожего? И почему другая мысль — жестокая, нелепая, пугающая — иногда переживается как нечто чужеродное, хотя появилась в том же сознании?

Мы склонны путать два значения слова «мой». Первое означает происхождение: событие возникло в системе, кото-

рую я называю собой. Второе означает согласие: я считаю содержание события правильным и готов действовать в соответствии с ним. Между ними лежит огромная область человеческой жизни. Страх может быть моим, но я не обязан ему подчиняться. Раздражение может быть моим, но оно не обязано становиться моей речью. Нежность может возникнуть без приказа, но я всё равно могу решать, выражать ли её и как.

Первая свобода, о которой здесь стоит говорить, — не власть над появлением мысли, а возможность не принимать её сразу за приказ. Страх принадлежит человеку, но не обязан определять его действие. Нежность может возникнуть без намерения, однако требует решения о том, как быть с другим. Между внутренним событием и поступком не всегда есть пауза. Но когда она возникает, в ней можно увидеть, как человек относится к собственному желанию.

Представим мальчика, впервые услышавшего слово, которым унижают другого. Он не изобретал это слово. Его принёс мир. Позже мальчик может произнести его, даже не задумавшись, а может однажды услышать собственную речь и испытать стыд. Что изменилось? Вероятно, не появился отдельный правитель души. Внутри той же личности возникло новое отношение к старому способу реагировать. Услышанное когда-то стало предметом выбора, пусть и несовершенного.

Так постепенно становится заметно, что человек состо-

ит не только из содержимого своих мыслей. Важна и история того, что с этими мыслями происходило. Некоторые он отвергал. Некоторые превращал в дела. Некоторые повторял настолько часто, что они перестали требовать отдельного усилия. Стало привычно поддерживать. Или перебивать. Стало привычно оправдываться. Или слушать. И то, что вчера требовало сознательного труда, сегодня уже может происходить как будто само.

Однажды вечером человек получает сообщение, в котором нет ничего обидного. Несколько коротких строк: встречу перенесли, обстоятельства изменились, ответить можно завтра. Но при чтении внутри вспыхивает такая резкая злость, словно ему только что объявили, что он ничего не значит. Рука уже тянется к клавиатуре. В голове готов целый обвинительный монолог. А затем он замечает: собеседник не написал ни слова из того, на что он собирается отвечать. Между текстом на экране и смыслом, которым он его наделил, помещается целая история его прежних разочарований.

В этот момент возникает соблазн произнести: «Это не я, это моя травма», «Это не я, это усталость», «Это не я, так сработал мозг». Но слово «не я» слишком легко освобождает нас от необходимости разобраться. Разве пережитое не стало частью нашей жизни? Разве усталость не принадлежит нашему телу? Если признать собственной только ту мысль, которую мы одобрили, то значительную часть человеческого опыта придётся объявить ничьей. Это было бы удобно, но

неверно. Быть своим и быть оправданным — разные вещи.

Он откладывает телефон. Не потому, что обнаружил в себе безошибочного внутреннего судью. Ему просто удаётся сделать ещё одну вещь: прочитать сообщение повторно, не добавляя к нему собственных предположений. Раздражение не исчезает. Воспоминания не становятся ложными. Даже возможность несправедливого ответа остаётся. Но между первой вспышкой и отправленным сообщением появляется новая процедура — проверка. Вопрос теперь не в том, кто создал раздражение, а в том, на каком основании человек готов превратить его в слово, которое услышит другой.

При этом мы не должны превращать такую сцену в моральный рецепт. Иногда реакция оказывается справедливой: короткое сообщение действительно может быть очередным звеном в цепи унижений. Иногда человек слишком истощён, чтобы провести внутреннюю проверку. Иногда его «не спеши отвечать» — вовсе не мудрость, а выученная покорность. Ценность примера не в призыве всегда сдерживаться. Она в том, что появление мысли, её оценка и социальная цена действия — различимые события, хотя между ними нет внешнего хозяина.

Труднейший вопрос возвращается именно здесь. Откуда взялась способность перечитать без гнева? Из прошлого воспитания, опыта, привычки, случайно услышанного совета? Несомненно, у неё есть своя предыстория. Но если всякий навык мы перестанем считать человеческим только по-

тому, что он чему-то обязан, то человек исчезнет из собственной биографии. Останется требование невозможного: признавать автором лишь того, кто ни у кого ничему не научился.

Но возникает неприятная ловушка. Если мысль возникает без моего сознательного согласия, а способность оценивать её тоже складывается из опыта, разве можно сказать, что именно я что-либо изменил? Может быть, разговор о внутренней работе лишь украшает причинную цепь красивыми словами?

Ответ пока не нужен. Достаточно заметить: объяснение действия через причины не делает действие автоматически чужим. Мы говорим, что дерево растёт благодаря почве, воде и свету, не утверждая, будто рост ему не принадлежит. Но аналогия имеет предел: дерево не может объяснять свои поступки и отвечать перед другими. Почему человеку это бывает доступно — отдельный вопрос.

Представь, что человек услышал в толпе собственное имя. Он оборачивается раньше, чем успевает решить, стоит ли оборачиваться. Может оказаться, что имя произнесли вовсе не ему. И всё же тело уже отозвалось. Впечатление вошло в жизнь без разрешения. Если позднее человек расскажет: «Я услышал, меня позвали, я повернулся», история будет правдивой, хотя ни одно из трёх событий не потребовало отдельного внутреннего приказа. Наша речь об «Я» гораздо шире перечня полностью сознательных распоряжений.

А теперь другое событие. Вечером человек замечает, что весь день мысленно возвращался к разговору, который давно закончился. Ему кажется, будто он специально обдумывал услышанное. Но когда именно начал? Он не знает. Разговор словно продолжался в нём, пока он занимался другими делами. И внезапно нашёлся ответ, который следовало дать утром. Человек может испытать злость за собственную медлительность — или благодарность за мысль, которая всё-таки пришла. Ни то ни другое не устанавливает, кем и когда она была произведена.

Одна мысль может быть приглашённой: мы садимся за стол, открываем тетрадь, ставим вопрос. Другая — незваной. Но и приглашённая возникает не по нашему точному чертежу. Даже писатель, решивший написать определённое предложение, нередко удивляется слову, которое только что выбрал. Это не унижает автора. Возможно, творчество и состоит отчасти в том, чтобы работать с материалом, появление которого не подчиняется полной предварительной власти. Автор не создаёт каждый звук языка; однако он способен услышать фразу, зачеркнуть её и написать другую.

Эта аналогия не должна стать дешёвым доказательством. Мы не утверждаем, что сознание редактирует мозг как внешний пользователь редактирует документ. Сравнение всего лишь позволяет заметить: происхождение материала и работа с ним различимы. Даже если обе деятельности принадлежат одной природной системе, из этого не следует, что раз-

личие между ними лишено смысла. Чтобы понять его границы, придётся выйти от письменного стола к приборам, которые способны заглянуть в подготовку движения.

Представим, что исследователь сообщает участнику: «Мы знали, какую кнопку вы нажмёте, ещё до того, как вы об этом подумали». В обычной речи это звучит как раскрытие тайного плана. Но научная формулировка могла бы быть гораздо осторожнее: определённый рисунок активности содержал статистическую информацию, позволяющую угадывать будущий выбор чаще случайного уровня. Разница между двумя предложениями огромна. Первое описывает обнаруженную судьбу. Второе — измеренную зависимость с определённой погрешностью.

Если при двух равновероятных вариантах прибор угадывает шесть ответов из десяти, в четырёх случаях он ошибается. Даже верный прогноз не означает, что в момент измерения уже существовало окончательное решение. По утреннему давлению можно предположить погоду, не объявляя дождь неизбежным. Прогноз следует отличать от предопределения.

Проблема усугубляется тем, что участнику приходится сообщать момент осознания намерения. Что он сообщает на самом деле? Самое раннее неуловимое ощущение готовности? Первый оформленный образ действия? Момент уверенности, что уже не передумает? Точка на циферблате кажется точной, но название измеряемого события способно оста-

ваться спорным. Один человек замечает желание как импульс в пальце. Другой — как словесную фразу «сейчас нажму». Третий только потом понимает, что готовность была. Внешняя точность приборов не отменяет этой сложности определения.

Теперь изменим опыт. Пусть человек не нажимает кнопку, а решает, говорить ли старому другу о поступке, который разрушил доверие. Здесь нет двух равноценных вариантов и нет одного короткого времени действия. Его решение включает страх, оценки, воспоминания, возможные последствия для другого человека. Необязательно отвергать эксперименты с кнопками. Следует лишь сказать: исследование свободного движения пальца и вопрос об авторстве жизненного поступка имеют разный предмет. Между ними ещё предстоит построить объяснительный мост.

В научном разговоре особенно важно слово «раньше». Оно обозначает последовательность наблюдений, но не обязательно порядок причинной власти. Событие, возникшее раньше, может подготовить, усилить или ограничить то, что произойдёт позже. Из этого не вытекает, что более позднее событие бессильно. Человек сначала видит дорожный знак, затем тормозит: позднее действие не становится иллюзией из-за того, что предупреждение предшествовало ему. Для сознания это лишь сравнение, не готовая модель механизма. Но оно напоминает: «позже» ещё не означает «бесполезно».

За завтраком женщине вдруг приходит в голову странная

мысль: что, если ей совсем не хочется ехать на встречу, которую она сама назначила? Накануне она готовилась, записывала вопросы, даже испытывала воодушевление. Сейчас же, едва увидев часы, чувствует отвращение. Не к человеку, с которым должна встретиться. Не к содержанию разговора. Просто к предстоящему выходу из дома. Первая её реакция — обвинение: «Почему я такая непостоянная?» Вторая — поиск настоящей причины. Она перебирает вчерашний день, недосып, тревожный звонок, неприятный сон. Находит несколько объяснений, ни одно из которых не кажется достаточным. А встреча тем временем приближается.

Здесь легко совершить две противоположные ошибки. Первая — решить, будто внезапная мысль открыла скрытую истину: если сейчас не хочется идти, значит, вчерашнее согласие было самообманом. Вторая — объявить новую мысль ничтожным шумом и насильно выполнять любой прежний план. Но желание не является ни безошибочным сообщением о нашей сущности, ни бесполезной помехой. Оно может содержать информацию о состоянии человека, хотя не обязано определять его действие. Женщина может прислушаться к нежеланию, признать его и всё-таки поехать. Может перенести встречу, не придумывая уважительной причины. Может обнаружить, что за внезапной усталостью скрывается страх конфликта. Каждое продолжение меняет смысл первоначальной мысли.

Попробуем задержаться в том месте, где ещё не произо-

шло ничего внешне заметного. У человека есть переживание, но ещё нет поступка. Он может произнести про себя: «Мне хочется избежать разговора». А может: «Мне не нравится, что я хочу избежать разговора». Во второй фразе возникает отношение к собственному желанию. Однако не стоит сразу возводить это отношение на престол. Откуда взялось само недовольство желанием? Возможно, из привычки не подводить людей. Возможно, из страха выглядеть слабым. Возможно, из искренней заботы. Над каждым новым этажом объяснения можно построить следующий.

Если мы будем искать первую полностью независимую причину, лестница никогда не закончится. Но с этого не следует, что все её ступени одинаковы. Одно дело — едва заметный импульс, другое — решение, принятое после разговора с человеком, которого оно затронет. Одно дело — мысль, мелькнувшая во время усталости, другое — убеждение, выдержавшее несколько дней проверки. Мы ещё не знаем, создаёт ли такая проверка свободу в строгом метафизическом смысле. Но она точно делает описание действия богаче, чем фраза «мозг захотел».

Есть особый соблазн назвать своей только ту мысль, которая понравилась. Тогда неприятные мысли становятся чужими, а приятные — доказательством характера. Это удобная, но ненадёжная бухгалтерия личности. Бывает, человеку приходит ужасное желание, которое он никогда не поддержал бы. Бывает, возникает благородный порыв, который

исчезает, едва появляется цена. Ни первое не делает человека окончательно чудовищем, ни второе — окончательно праведником. Между появлением мысли и тем, какое место она займёт в жизни, пролегает область, которую мы будем исследовать дальше.

Вечером женщина всё-таки вернулась со встречи. Она может сказать: «Я не хотела идти, но пошла». Может — «Мне не хотелось именно начинать, а потом разговор оказался важным». Может — «Надо было перенести; я не услышала себя». Ни одна формула не отменяет утреннюю мысль. Но каждая показывает, что эта мысль не существовала в одиночестве. У неё было продолжение. И, возможно, именно продолжение делает вопрос об авторстве по-настоящему человеческим.

Есть мысли, которые приходят к человеку так тихо, что он не замечает самого появления. Он просто обнаруживает: уже несколько минут мысленно спорит с кем-то, кого рядом нет. Есть другие — резкие, почти чужеродные, будто кто-то уронил предмет посреди комнаты. И есть третьи, которые он годами называет собственными убеждениями, хотя давно не помнит ни момента их рождения, ни того, когда в последний раз подвергал их сомнению. Эти три случая отличаются по времени и силе, но соединены странным обстоятельством: ни один не предоставляет своему обладателю полного отчёта о происхождении.

Однажды библиотекарь разбирает коробку с возвращён-

ными книгами и находит между страницами листок. Всего несколько слов, написанных детской рукой: «Когда вырасту, буду человеком, который никого не боится». Сначала библиотекарь улыбается. Затем почему-то вспоминает, как много лет назад сам не решился выступить в защиту друга. Он не намеревался возвращаться к той истории. День был обычным, коробка — одной из десятков, листок принадлежал неизвестному ребёнку. Но память уже соединила чужое обещание и его собственное молчание. Внутри возникло неприятное чувство. Он мог отмахнуться: мало ли что вспоминается. Мог объявить себя трусом. Мог наконец написать другу, с которым давно не общался. Событие, запустившее мысль, не определяет единственного продолжения.

И здесь необходимо не потерять разницу между неожиданностью и отсутствием авторства. Появление воспоминания не было запланировано. Однако его присутствие не делает человека безвольным свидетелем. У него может возникнуть возможность исследовать, чему он теперь придаёт значение. Впрочем, сама способность задержаться на мысли зависит от усталости, опыта, внимания и множества обстоятельств. Даже место для размышления не возникает из пустоты. Мы снова встречаем предел нашего знания о себе, но он ещё не приговор.

Возможно, мы слишком легко называем подлинной только ту мысль, которая появилась после намеренного рассуждения. Но сколько важного в человеческой жизни начинает-

ся без такого приглашения? Любовь к музыке иногда возникает от случайно услышанной мелодии. Решимость учиться — после встречи, о которой никто не договаривался. Желание помочь — от увиденного на улице. То, что не было выбрано как начало, может быть принято, пересмотрено и продолжено. И наоборот: тщательно спланированная мысль иногда остаётся пустой декларацией, которую человек отказывается воплощать.

Возникновение мысли, её одобрение и поступок на её основании — не одна операция. Они могут следовать почти одновременно, но мы искажем их, если сожмём в одно «я захотел». Библиотекарь не выбирал надпись на листке, не приглашал первую волну стыда. И он всё-таки может сесть за стол и ответить письмом. Это не доказывает, что он свободен от всех причин; это позволяет точнее назвать действие, за которое ему предстоит отвечать.

Вспомни мысль, которая недавно застала тебя врасплох. Не самую важную: достаточно внезапного желания, раздражения или воспоминания. Что случилось после её появления? Ты отбросил её, дал ей имя, подчинился ей, начал спорить с ней? Быть может, между первой искрой и огнём есть не пустота, а работа, которой мы прежде не замечали.

Воспоминаний о внутреннем опыте недостаточно, чтобы построить теорию. Лаборатория предложит другой язык — электрический сигнал, движение пальца, отметку времени. Но ответит ли этот язык на вопрос, который мы только что

поставили?

ГЛАВА 2 ЗА МГНОВЕНИЕ ДО РЕШЕНИЯ

В лаборатории человеку предлагают простое действие: пошевелить пальцем, нажать кнопку, выбрать один из двух вариантов. Он должен сделать это тогда, когда сам захочет. Не по приказу звукового сигнала, не вслед за вспышкой, а в выбранный им момент. Тем временем приборы регистрируют активность мозга. Задача кажется почти детской. Именно поэтому результат когда-то прозвучал столь громко.

В опытах Бенджамина Либета и его коллег, опубликованных в 1983 году, подготовительный электрический сигнал предшествовал моменту, когда участники сообщали об осознанном желании совершить движение. Речь шла о сотнях миллисекунд. Для повседневного восприятия почти ничто; для вопроса о порядке событий — существенная разница. Возникало искушение: раз мозг подготовился раньше, чем человек заметил намерение, значит, сознание опоздало к собственному решению. Но эксперимент измерял движение, нейронный сигнал и субъективный отчёт; он не измерял, был ли человек окончательной причиной поступка [1].

Позднее функциональная магнитно-резонансная томография позволила искать закономерности, связанные не только со временем движения, но и с вероятным выбором между двумя вариантами. В исследовании Суна и коллег

2008 года по особенностям мозговой активности удавалось предсказывать выбор между двумя кнопками за несколько секунд до того, как участник сообщал об осознанном намерении. Предсказание было статистически лучше случайного угадывания, но отнюдь не безошибочным. «Сигнал содержит информацию» — это ещё не «решение уже окончательно принято» [2].

Разница между сигналом о вероятном выборе и безвозвратно принятым решением не исчезает оттого, что оба события относятся к мозгу. Допустим, знакомый обычно возвращается домой одной дорогой. Ты можешь угадать его маршрут с высокой вероятностью. Предсказание ещё не доказывает, что у перекрёстка для него исчезла возможность свернуть.

Другая трудность заключается в том, как мы определяем сам момент осознания. В одних экспериментах участник позднее вспоминает положение движущегося указателя в тот миг, когда ему показалось, что возникло намерение. Но память о мгновении — не само мгновение. Мы просим сознание измерить собственное появление, пользуясь теми же механизмами, точность которых пытаемся проверить. Это не делает исследования бессмысленными. Это заставляет осторожнее обращаться с выводами.

Отдельно исследовалось и субъективное время собственного действия и его последствий. В экспериментах Хаггарда и коллег воспринимаемые моменты произвольного действия

и связанного с ним результата сближались во времени [5]. Это не измерение момента рождения решения. Но оно напоминает, что переживаемая последовательность событий и время, установленное прибором, не всегда совпадают.

Есть и другой способ спросить человека, когда он хотел двинуть рукой. Вместо просьбы вспомнить положение стрелки исследователь может неожиданно подать звук и узнать, было ли намерение уже заметно в этот момент. Именно так, с важными методическими оговорками, работали Масао Мацухаси и Марк Халлетт. В их исследовании 2008 года у 15 участников намерение, оценённое с помощью опроса в случайные моменты, обнаруживалось гораздо раньше, чем в классическом рассказе о двух десятых секунды перед движением: в среднем приблизительно за 1,42 секунды. Подготовительная активность всё ещё могла начинаться раньше. Но спор о времени перестал быть спором об одном неизменном числе [19].

Это не значит, что один способ наконец показал истинную секунду, а другой был просто ошибкой. Участник может замечать слабое желание, затем отчётливо понимать, какое действие готовит, затем переживать почти непреодолимую готовность двигаться. О чём именно он сообщает, когда говорит «я захотел»? Если разные процедуры ловят разные уровни доступности намерения, конфликт цифр способен оказаться указанием на неоднородность самого переживания. Исследователь здесь должен сперва объяснить, что

измеряет, и только потом сообщать, какой философский вывод якобы следует из измерения.

В 2012 году Аарон Шургер и коллеги предложили модель, согласно которой часть подготовительной мозговой активности может возникать из накопления спонтанных колебаний. Более того, усреднение сигналов относительно момента движения способно создавать характерную форму на графике. В таком объяснении ранний сигнал не обязательно свидетельствует о скрытом готовом решении. Это модель, подкреплённая конкретными наблюдениями, но не окончательное опровержение всех альтернатив [3].

Поразительна сама наша привычка требовать от решения точного времени рождения. Мы представляем его точкой: до неё не было решения, после — есть. Однако в обычной жизни эта граница редко бывает настолько чёткой. Ты выбираешь профессию не в день, когда отправляешь документы, а постепенно: через разговоры, восхищение, скуку, ошибки, внезапную уверенность и последующие сомнения. Подпись под заявлением завершает длинный процесс, но не объясняет его полностью.

Учёный может точно определить момент нажатия кнопки. Намного труднее назвать минуту, когда жизнь человека стала двигаться в иную сторону. Не потому, что измерения бесполезны, а потому, что здесь нужно договориться, какое событие считать решением и насколько долго оно длится.

Против простого переноса лабораторной кнопки в чело-

веческую судьбу существует и прямое экспериментальное возражение. В 2019 году Ури Маоз и коллеги сопоставили произвольные решения и решения, в которых люди учитывали свои ценности. Характерный потенциал готовности наблюдался в заданиях с произвольным выбором, тогда как в осмысленных решениях аналогичный сигнал не удалось обнаружить в той же форме [20]. Это не доказательство особой свободы осмысленного выбора: исследование не измеряло метафизическую свободу и не установило, что сознание здесь становится единственной причиной. Но оно ставит под сомнение удобный мост между двумя разными вопросами: «когда нажать кнопку без существенной причины?» и «как поступить, когда у разных решений есть цена?».

Представь, что в одном помещении человек выбирает, какую руку поднять, а в другом решает, говорить ли правду, зная о риске потерять работу. Оба действия сопровождаются нейронной активностью. Оба имеют причины. Из этого ещё не следует, что механизм их подготовки и мера сознательного обсуждения одинаковы. Привычка использовать одно слово «решение» скрывает различия, ради которых и стоило проводить исследования.

В августе 2026 года появилась работа Хуан, Сегеци и Хаггарда: в заданиях с подбором и печатанием слов исследователи использовали непредсказуемые вопросы о текущем намерении, чтобы не полагаться только на воспоминание после действия. В двух экспериментах с участием в общей

сложности 51 человека оценка осознанного намерения приходилась более чем на секунду раньше предполагаемого начала действия. Результат не вернул сознанию трон всеобщего повелителя. Он усложнил чрезмерно простую историю о сознании, которое всегда узнаёт обо всём уже после совершившегося; оценка времени здесь зависит от модели и способа опроса [4].

Есть особая ловушка в том, как мы рассказываем об эксперименте. Сначала появляется график: линия поднимается, прибор обнаруживает отличающийся сигнал. Потом появляется короткая фраза: «Мозг решил раньше человека». Между графиком и фразой исчезают десятки необходимых уточнений. Что означал сигнал? На какой группе он был обнаружен? Как определили момент намерения? Насколько хорошо модель предсказывала отдельный выбор? И какую долю наблюдений она объясняла? Ни один из этих вопросов не украшает заголовок, но именно они отличают исследование от легенды.

Попробуй представить невидимое испытание. Ты садишься перед экраном. Тебе предлагают выбрать левую или правую кнопку. Никаких последствий у выбора нет. Можно нажать любую. Машина выдаёт прогноз: «Левая». Ты нажимаешь левую. Что произошло? Возможно, она заметила небольшое предпочтение, доступное тебе только как едва уловимая склонность. Возможно, она уловила статистический рисунок предыдущих проб. Возможно, угадала. Теперь

тебе сообщают, что в среднем её точность немного выше случайной. Из этого нельзя заключить, что твои действия заранее принадлежат машине. Её знание — не распоряжение.

Врач просит пациента восстановить движение руки после долгого обездвиживания. Человек смотрит на собственные пальцы и словно заново учится тому, что раньше не замечал: поднять кисть, удержать напряжение, остановить её в нужном месте. Процесс совершается в теле и благодаря нервной системе. Никому не приходит в голову говорить: «Мышцы научились без пациента, значит, пациент не участвовал». Он участвует не как отдельное существо, которое управляет мышцами из другого мира. Участие проявляется в повторении, корректировке, внимании, обратной связи, в отношениях с человеком, который помогает ему учиться.

Этот пример показывает, насколько странной может быть наша привычка требовать от сознания независимости от мозга. Мы не считаем ходьбу фикцией потому, что без ног и нервной системы она невозможна. Не объявляем письмо ненастоящим из-за того, что у него есть моторная и языковая основа. Но когда дело касается решения, внезапно требуем, чтобы его автор стоял вне всех условий принятия решения. Тогда любое обнаруженное условие выглядит как разоблачение автора. Чем успешнее наука объясняет работу человека, тем меньше места оставляет воображаемому наблюдателю, хотя самого человека из объяснения это не удаляет.

Но нельзя обойти и другую трудность. Сказать «я — де-

тельность собственного мозга» недостаточно, чтобы объяснить субъективное переживание. Человек знает себя не по результатам сканирования: он чувствует боль и облегчение, испытывает сомнение и ожидание. Научная картина причин и описание переживания относятся к одному человеку, но не становятся тождественными от одного удачного определения.

Ощущение авторства тоже неоднородно. Одно дело — заранее почувствовать, что собираешься поднять чашку. Другое — распознать поднятую чашку как результат собственного движения. Третье — принять на себя ответственность за разбитую при этом тарелку. Предсказание движения, восприятие его результата и социальное признание поступка не обязаны совпадать по времени. В исследованиях чувства агентности отдельно рассматриваются предсказательные сигналы и последующее осмысление результата; ни один из них не следует объявлять единственной кнопкой, включающей «Я».

Если это так, то вопрос «кто я: мозг или сознание?» может быть плохо устроен. Он заставляет выбирать между уровнями описания одного живого человека. Более продуктивно спросить, каким образом его телесные процессы, переживания и отношения складываются в способность действовать от собственного имени. Этот вопрос труднее простого противопоставления, зато он не заставляет нас придумывать второго обитателя черепа.

А теперь изменим условия. На одной кнопке написано «извиниться», на другой — «продолжать молчать». Ты знаешь человека, которого обидел. У тебя есть страх, гордость, память о последнем разговоре. Сама формулировка задания меняет его природу. Выбор больше не равен двум движениям пальца. Он включает значение, последствия и образ себя, с которым ты останешься после поступка. Для изучения такого выбора нужны иные способы наблюдения; нельзя незаметно перенести точность простой лабораторной модели на годы человеческой биографии.

Мы часто требуем от науки невозможной услуги: чтобы она за нас решила вопрос, который мы не сумели ясно сформулировать. «Есть ли свобода?» — спрашиваем мы, поднося к голове датчики. Но датчики измеряют не свободу как философское понятие. Они измеряют сигналы. Учёный строит мост между сигналом и определённой интерпретацией; другой учёный проверяет прочность моста. Если мы пропускаем этот промежуток, то начинаем поклоняться приборам как судьям человеческой жизни.

Впрочем, и противоположная ошибка не лучше. Нельзя отвергнуть неудобное измерение только потому, что оно сделано в лаборатории и кажется слишком простым. Иногда именно простая задача обнаруживает слабое место привычной уверенности. Если человек не знает, когда впервые возникло его намерение нажать кнопку, почему он должен без сомнений знать происхождение всех мотивов, опреде-

ливших большой жизненный выбор? Эксперимент не доказывает отсутствие авторства. Он напоминает о границах самоотчёта. Эта скромная мысль способна встревожить сильнее громкого лозунга.

Вообразим лабораторию, в которой участнику предлагают не выбирать левую или правую кнопку, а решать, стоит ли сегодня сообщать другу неприятную правду. Решение требует вспомнить прошлые разговоры, представить последствия, различить собственную обиду и заботу о другом. Можно ли определить точную секунду, когда выбор состоялся? Возможно, некоторые варианты отпадут почти сразу. Возможно, человек уже начнёт составлять сообщение и вдруг передумает. Возможно, он примет решение сказать правду, но будет два дня искать форму, не похожую на наказание. Какой именно момент должен предсказать прибор?

Это не возражение против лабораторных экспериментов. Напротив, их сила состоит в умении изолировать условия, которые иначе трудно наблюдать. Когда действие просто, исследователь может сравнивать последовательности сигналов и отчётов. Но цена такой точности — ограниченность задачи. Переход от выбора кнопки к сложному моральному решению требует самостоятельного объяснения, а не красивого сходства слов «выбор» и «решение». Если мы забываем эту разницу, то результат становится похожим на линейку, которой сначала измерили длину стола, а затем заявили, что измерили ценность жизни за ним.

Есть ещё одна тонкость. Предсказание и причинное управление — не одно и то же. Если человек просыпается каждое утро в шесть, я могу уверенно угадать, когда он встанет завтра. Это не значит, что я заставил его встать. В мозговых исследованиях связь сложнее: наблюдаемый сигнал может отражать подготовку, предрасположенность, изменение внимания, статистическую закономерность или часть причинного механизма. Различить эти возможности гораздо труднее, чем произнести: «аппарат увидел решение заранее». Даже статистически значимое предсказание оставляет место для ошибок, изменения исхода и множества неучтённых причин.

А теперь представим, что участнику показывают прогноз его выбора: «Через несколько секунд вы нажмёте левую кнопку». Он усмехается и нажимает правую. Следует ли заключить, что прогноз был неверным, или что само предъявление прогноза изменило процесс? Возможны оба ответа, и для их различения понадобится новый эксперимент. Но как мысленный пример это важно. В знании о будущем действии может появиться новая причина действия. Предсказание перестаёт быть невидимым наблюдением и становится событием, с которым человек что-то делает.

Именно поэтому фраза «если бы мы знали все состояния мозга, мы знали бы всё будущее» не является простым следствием опытов с кнопками. Здесь скрыта огромная философская предпосылка о мире, причинности, точности

знания и границах предсказания. Её нельзя украдкой добавить к скромному экспериментальному результату. Мы можем быть поражены тем, что подготовка действия начинается раньше осознания. Но удивление не освобождает нас от аккуратности.

Есть и проблема отчёта о времени. Участник сообщает, когда заметил намерение. Для этого он должен не только пережить намерение, но и удержать его во внимании, соотнести с наблюдаемыми часами или другим сигналом и потом назвать момент. На каждом шаге возможна погрешность. Это не делает субъективный отчёт бесполезным. Это означает, что он сам является измерением, а не прозрачным окном внутрь сознания. Если прибор фиксирует электрическое событие, а человек вспоминает переживание, мы сравниваем два разных способа датировать явления. Противоречие между ними может быть информативным, но не следует заранее решать, какое из измерений содержит всю истину.

Выходит, лаборатория задаёт философии дисциплину, а не диктует ей готовый приговор. Она показывает, какие простые истории о воле недостаточны. Не все мысли начинаются по команде. Не каждое действие рождается в момент ясной декларации. Но из этого ещё не следует, что у осознанного размышления нет роли. За пределами лаборатории нам предстоит исследовать, что именно мы называем этой ролью.

Есть ещё один эксперимент, который никто не проводил в точности в таком виде, но который помогает понять границы

наших выводов. Допустим, исследователь просит участника не нажимать кнопку, а в течение недели решать, принять ли предложение о работе в другом городе. Каждый вечер участник описывает новые аргументы. В понедельник он уверен, что останется. Во вторник получает сведения о зарплате и склоняется к переезду. В четверг разговаривает с близкими и вновь сомневается. В субботу подписывает договор, а через месяц отказывается от него из-за обстоятельств, которых раньше никто не представлял. Что именно здесь следовало бы предсказывать: ответ в первый вечер, подпись или фактический переезд?

Мы часто говорим о решении, подразумевая результат, и забываем, что результат может иметь собственную историю. Для одного действия нужен мгновенный выбор направления. Для другого — согласование множества условий, поиск информации, несколько предварительных обещаний и возможность пересмотра. Фраза «мозг решил раньше» будет означать разное в зависимости от того, какую границу мы выбрали. Поэтому самое важное в научной дискуссии — не соревнование секунд, а ясность определения. Исследователь должен сказать, что считать действием, что — намерением, как фиксировать его начало и какое значение приписывать статистическому сигналу.

Сопоставляя исследования, мы видим не единую шкалу, на которой сознание непременно «опаздывает» или «успевает», а несколько разных способов задать вопрос. подгото-

вительный сигнал, рассказ человека о моменте намерения и предсказание вероятного выбора не являются одной и той же величиной. Пока не разведены эти измерения, уверенная фраза «мозг опередил сознание» сообщает меньше, чем кажется.

Представим теперь два календаря. В первом отмечены события, доступные внешнему наблюдателю: сигнал прибора, движение руки, произнесённое слово. Во втором — то, как сам человек переживает намерение, сомнение, усилие, отказ. Эти календари нельзя просто наложить и объявить совпадающие клетки причиной друг друга. Время переживания и время измерения относятся к одному человеку, но описывают разные стороны происходящего. Ошибка — считать субъективное время абсолютно достоверным. Другая ошибка — полагать, будто время, зарегистрированное прибором, автоматически содержит всю субъективную жизнь.

В результатах таких опытов надо удержать две вещи одновременно. Ранние сигналы действительно могут содержать сведения о будущем ответе. Но предсказание лучше случайного угадывания ещё не является доказательством готового и необратимого решения. Любой более сильный вывод потребует другого эксперимента. Измерение становится ценным именно там, где мы отказываемся приписывать ему то, чего оно не измеряло.

Человек, решивший переехать в другой город, может обнаружить свою склонность задолго до подписания докумен-

тов. Затем он изучит условия, услышит возражения и изменит первоначальный план. Можно измерять элементы этой истории, но её нельзя без дополнительного обоснования приравнять к движению пальца. Невозможность такого приравнивания — не слабость нейронауки, а граница применимости конкретного опыта.

Мы получили не приговор свободе, а более сложный порядок событий: подготовка может предшествовать сообщению об осознанном намерении; намерение иногда замечается заранее; действие порой удаётся отменить; объяснение поступка может появиться уже после него. Эти обстоятельства не обязаны исключать друг друга.

Всякий раз, когда график превращали в историю об опоздавшем сознании, в ней появлялся новый герой — «мозг, решивший за меня». Прежде чем спорить с ним, надо спросить, кто здесь скрывается за словом «меня».

ГЛАВА 3 МОЗГ, КОТОРЫЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДРУГИМ

Фраза «мозг меня обманул» звучит привычно. Мы производим её после оптической иллюзии, ошибочного воспоминания, неожиданных эмоций. Но кто именно кого обманул? Неужели внутри человека обитают два самостоятельных существа — мозг, который действует, и «Я», которое принимает отчёты?

В языке есть удобная неточность. Мы говорим «сердце хочет», «голова понимает», «тело просит отдыха». Слова помогают обозначить разные стороны опыта. Опасность возникает тогда, когда образ превращается в онтологию: будто желание принадлежит отдельному существу-сердцу, расчёт — существу-голове, а настоящий человек сидит между ними, как судья в тесной комнате.

Разумеется, человеку полезно различать эмоции, привычки, осознанные планы и телесные потребности. Но различать не обязательно означает разделять на независимых владельцев. Моя рука может дёрнуться от неожиданности прежде, чем я успею решить что-либо сделать. Это действие моего организма, хотя я не управлял им сознательно. Мой язык может вспомнить слово раньше, чем я отыщу причину, почему оно пришло. Это всё ещё событие моей жизни.

Здесь появляется возможный принцип: принадлежность

не тождественна непосредственному контролю. Сердцебиение принадлежит моей жизни, хотя я не задаю каждому удару время. Воспоминание принадлежит моей памяти, хотя я не выбираю все детали его возвращения. Это не доказательство, что все внутренние события одинаково заслуживают имени «я». Но достаточное основание усомниться в грубом противопоставлении «человек против своего мозга».

Представим оркестр без внешнего дирижёра. Скрипки слышат виолончели; ударные подхватывают ритм; музыканты учитывают друг друга. Музыка появляется из согласования множества участников. Было бы странно искать отдельную маленькую музыку, которая управляла бы оркестром изнутри. И столь же странно считать, что без неё оркестр вообще ничего не исполняет. Аналогия не описывает нейрофизиологию буквально. Она помогает увидеть ошибку: сложное целое не обязательно нуждается в ещё одном тайном хозяине над собственными процессами.

Но у человеческого опыта есть особенность. Мы не просто действуем. Мы переживаем себя действующими. Внутри действия появляется ощущение первого лица: не просто поднялась рука, а «я поднял руку». Откуда берётся эта форма переживания? Наука изучает связанные с ней механизмы, но вопрос о том, почему процессы сопровождаются субъективным опытом, остаётся открытым. Не стоит превращать недостаток окончательного ответа в разрешение утверждать что угодно.

В исследованиях переживания действия показано, что воспринимаемые моменты собственного движения и последовавшего за ним события иногда оказываются ближе друг к другу, чем при раздельной оценке. Этот эффект называют *intentional binding* — временным связыванием действия и результата. Он указывает на исследуемые особенности переживания действия, но не доказывает и не опровергает свободу воли; к тому же ощущение авторства не сводится к одному этому показателю [5, 14].

Но временное связывание нельзя считать прибором для удостоверения авторства поступка. Если человек воспринимает движение и последовавший звук как более близкие по времени, это говорит об особенностях переживания действия и последствий, а не о том, был ли он нравственно ответственен или обладал иной возможностью поступить. Работы о предсказании и последующей оценке действия показывают: на это сближение влияют как ожидание результата, так и его реальное наступление [14].

На этом месте возникает трудная мысль. Мы иногда узнаём действие как своё благодаря тому, как оно совпало с ожиданием. Но не всякое совпадение истинно, не всякое расхождение означает чужое управление. Ты поворачиваешь ключ, дверь открывается, и всё кажется естественным. Однажды замок заедает; рука остаётся твоей, хотя результат не наступил. Чувство авторства — важное свидетельство опыта, но его нельзя без проверки возводить в верховного судью при-

чинности.

Есть тонкое различие между переживанием и правом на него. Человек иногда ошибается, когда пытается объяснить, почему поступил определённым образом. Из этого не следует, что его поступок совершил кто-то другой. Если я не знаю всей истории своей радости, радость не становится чужой. Если не способен перечислить все причины своего решения, решение не становится автоматически недействительным.

Есть особый вид обещаний, которые становятся нашими намерениями задолго до того, как мы оказываемся в положении исполнить их. Человек обещает старому другу приехать на похороны, если случится беда. Проходят годы. Он живёт далеко, у него меняется работа, появляются новые обязанности. Наконец раздаётся звонок. Теперь перед ним не отвлёчённая возможность, а билет, деньги, чужие надежды, собственная усталость и почти забытая фраза, произнесённая много лет назад. Какое из этих событий следует назвать началом решения ехать?

Пока обещание было словами, оно уже изменяло человеческую жизнь. Друг мог рассчитывать на него. Сам обещавший мог строить отношение к себе как к человеку, который остаётся рядом. Но ни слово, ни моральный образ не отменяли обстоятельств. Настало время, когда намерение встретилось с невозможностью: билеты закончились, самолёты не летают, рядом есть человек, которого нельзя оставить одного. Тогда отказаться от поездки может означать не предать

обещание, а исполнить более существенную его часть другим способом. И всё же это решение потребует объяснения.

Так обнаруживается различие между желанием, планом, решимостью и обязательством. Желание может вспыхнуть и исчезнуть. План предусматривает шаги и средства. Решимость связана с готовностью выдерживать препятствия. Обязательство выходит за пределы внутреннего состояния, потому что другие люди приобретают основания ожидать от нас определённых действий. Все эти формы связаны, но не тождественны. Исследование момента, когда рука потянулась к кнопке, не может без дополнительных вопросов объяснить, как обещание продолжает действовать десятилетиями.

Скептик справедливо возразит: и обещания, и оценка обстоятельств возникли из причин. Мы не спорим. Но теперь он должен уточнить, чего требует от свободы. Если требовать от человека полной независимости от собственной предыстории, станет трудно объяснить, почему вчерашнее обещание должно иметь силу для него завтрашнего. Но трудность объяснения ещё не означает невозможности свободы. Если же свобода означает способность оставаться восприимчивым к основаниям и объяснять отступление от собственного слова, причинная история может не уничтожать эту способность, а составлять её материал. Сама эта возможность не доказывает совместимость свободы с детерминизмом. Она только показывает, где проходит честный спор.

Однако здесь возражает строгий собеседник: «Ты все-

го лишь расширил слово „я“ так, чтобы оно включало всё удобное. А значит, избежал вопроса о свободе». Возражение справедливо. Нельзя победить философскую трудность переименованием. Поэтому мы пока говорим не о свободе, а о границе, на которой ставится вопрос. Прежде чем спросить «свободен ли я?», необходимо уточнить: что именно мы считаем собой, а что — внешним принуждением?

Когда человек говорит «мой мозг», само притяжательное местоимение звучит так, будто существует владелец и отдельно принадлежащий ему орган. Но выражение «моя жизнь» не требует от нас воображать маленького собственника, который живёт за пределами жизни. Я могу говорить «моё тело» и одновременно признавать, что я не внешний оператор этого тела. Я могу сказать «мои мысли» и не утверждать, будто специально сочинил каждую из них.

Вот почему фраза «меня обманул мозг» иногда скрывает важный вопрос о достоверности. Если зрительное восприятие ошиблось, это ещё не означает, что существует иной, безошибочный наблюдатель за глазами. Проверка ошибки может требовать измерений, мнения другого человека, повторного наблюдения. Люди исправляют восприятие не потому, что обладают мистическим вторым зрением, а потому, что имеют способы сравнивать впечатления между собой и с внешними свидетельствами.

Но нельзя использовать единство человека, чтобы стирать внутренние конфликты. Иногда человек переживает соб-

ственное желание как чужое и пугающее. Иногда кажется, будто он наблюдает себя со стороны. Философская метафора не объясняет автоматически такие переживания, не устанавливает диагноза и не даёт права поучать того, кто с ними столкнулся. Тонкая грань между «это происходит во мне» и «это выражает мои намерения» требует уважения, а не словесной победы.

Человек может быть собственной системой причин и при этом оставаться зависимым от множества обстоятельств, которых не выбирал. Его характер складывался без его первоначального согласия. Родной язык пришёл до осознанного решения говорить. Большинство встреч, повлиявших на него, были случайны с его точки зрения. И всё же именно из этого материала возникает тот, кто способен однажды спросить: «Хочу ли я продолжать жить так?»

Писатель читает старый дневник и обнаруживает страницу, написанную собственной рукой. Там он резко осуждает поступок, который теперь считает правильным. Под каждым словом стоит дата, и невозможно назвать запись подделкой. Перед ним человек, говорящий «я» с той же уверенностью, с какой он говорит сейчас. Кому принадлежит право представлять их общую жизнь? Тому, кто написал? Тому, кто перечитывает? Или ни один не получает монополии на последнее слово?

Мы привыкли думать, что первое лицо даёт особую власть над истиной о себе. В определённом смысле так и есть: никто

не может полностью заменить чужое переживание изнутри. Но власть свидетельствовать о собственном опыте не равна безошибочности объяснения причин. Человек лучше других знает, что ему больно, хотя может неверно понимать источник боли. Может искренне называть свой отказ благородным, не замечая страха. Может считать себя равнодушным и всё же возвращаться к одному письму десятки раз. Быть главным свидетелем собственной жизни не значит быть её всеведущим историком.

Здесь меняется и слово «настоящий». При встрече со старым дневником нет необходимости выбирать одного подлинного человека и одного ложного. В обоих случаях существовал человек с определёнными убеждениями и ограниченным знанием. Различия между ними могли возникнуть благодаря опыту, критике, потерям, близким, чтению. Если сегодняшний взгляд окажется лучше вчерашнего, его преимущество нужно будет обосновать, а не объявить автоматически истинным только потому, что он новее.

Возможно, выражение «я изменился» означает меньше, чем «прежний я умер», и больше, чем «всё осталось прежним». Оно связывает два состояния без обещания абсолютного тождества их содержания. Человек может сказать: «Я ошибался», — не освобождая себя от сделанного. А может признать: «Тогда я был прав», — даже если сегодня стало неудобно быть связанным прежней позицией. Первое лицо здесь не тайный центр управления, а форма публичного и

внутреннего отношения между временами жизни.

Представь театральную сцену, на которой актёр внезапно забывает текст. За кулисами суфлёр шепчет следующую реплику. Актёр слышит её, произносит и продолжает играть. Кто был автором сказанной фразы? Драматург написал её задолго до спектакля. Суфлёр подсказал слова. Актёр придал им голос, выражение и место в живом действии. Если один из них исчезнет, фраза изменит свою судьбу. Но было бы странно утверждать, что актёр вовсе не участвует в спектакле, потому что текст не возник у него в голове.

Человеческий поступок сложнее сценической реплики. Тем не менее этот образ помогает увидеть ошибку требования единственного источника. Мы привыкли спрашивать: «Кто действительно решил — мозг или я?» А может быть, само построение вопроса неверно. Оно предполагает, что мозг и человек существуют рядом, как драматург и актёр, и могут предъявить друг другу авторские права. На деле язык, которым человек рассказывает о себе, возникает в том же телесном и социальном существовании, что и его привычки, чувства, память. Он не парит над ними.

Однако и обратная крайность не лучше. Если сказать, что человек — это просто мозг, можно потерять отношения, в которых человеческое «Я» приобретает смысл. Знакомый просит прощения не у нервной системы. Суд обсуждает действия личности, а не отдельных нейронов. Ребёнок ждёт обещанного возвращения конкретного взрослого, а не совокуп-

ности физиологических процессов. Это не доказывает существование нематериального хозяина внутри головы. Это показывает, что описание одной реальности может иметь разные уровни, и один из них не всегда заменяет другой.

Когда мы говорим «река несёт лодку», никто не требует выбрать, что существует на самом деле: течение воды или река. Река не скрывается за водой в качестве дополнительно невидимого предмета, но это не делает слово «река» бессмысленным. Оно обозначает устойчивую форму движения, границы, связи с берегами, историю русла. Аналогия ограничена: человек не равен реке, и способность переживать себя требует отдельного объяснения. Но она помогает отказаться от ненужного соперничества между целым и его составляющими.

И всё же остаётся возражение. У реки нет чувства, что она течёт. У человека есть переживание собственного действия, иногда обманчивое и иногда точное. Мы не можем вывести это переживание из метафоры о целом и частях. Мы только очистили вопрос от одного ложного противостояния. Следующий вопрос — как возникает осознание самого себя и какую работу оно выполняет. Чтобы найти ответ, придётся не только смотреть на мозг, но и слушать, что люди делают со словами «я хотел», «я не хотел» и «я мог иначе».

Предположим, мастер много лет делает музыкальные инструменты. Он умеет на слух различать едва заметные ошибки в звучании, хотя иногда не способен объяснить, как имен-

но их обнаружил. Ученик просит назвать правило. Мастер проводит пальцами по поверхности, прислушивается, меняет форму детали и говорит: «Теперь слышишь?» Ученик слышит разницу, но по-прежнему не знает, как заранее прийти к правильному движению. Было бы нелепо утверждать, что мастер ничего не сделал сам, поскольку не сумел полностью перевести своё умение в слова. Его знание существует не только как произнесённая инструкция.

Оно существует в движениях рук, опыте ошибки, памяти о звуке, в способности различать. Но означает ли это, что мы должны объявить инструмент настоящим автором звучания? Конечно нет. Мы просто перестаём искать один-единственный участок события, которому принадлежат все права на результат. Так же, возможно, неудачно устроен вопрос «решил мозг или решил я». Он требует разделить целое на участника и владельца, хотя эти роли могут относиться к разным способам описания одного действия.

Однако есть препятствие серьёзнее языка. Если человек не прозрачен самому себе, как нам отличить его собственное решение от внушённого? Представь, что ученику незаметно навязывают вкус: всякий раз хвалят определённый звук, высмеивают другой, лишают права сомневаться. Через несколько лет он искренне говорит: «Мне нравится именно так». Его чувство подлинно как переживание. Но история его формирования включает чужое давление. Если мы просто скажем «всё происходящее в человеке — его», рискуем

оправдать манипуляцию. Целостность организма сама по себе не решает вопрос о свободе.

Видимо, нам понадобится различать принадлежность и авторство. Мысль может происходить в моей психической жизни, но это ещё не делает все условия её возникновения справедливыми. Желание может ощущаться собственным, но быть воспитанным угрозой, обманом или изоляцией. В то же время чужое влияние не обязательно является насильем. Учитель тоже меняет ученика. Любимый человек тоже изменяет наши предпочтения. Хорошая книга действует именно так. Если исключить любое влияние, мы исключим почти всю человеческую жизнь.

Поэтому вопрос постепенно приобретает новую форму. Не только «где произошло решение?», но и «каким образом человек мог отнестись к условиям, которые сформировали его?». Был ли доступ к иным взглядам? Можно ли было оспорить приказ? Слышал ли он собственное несогласие? Были ли реальные последствия у отказа? И, наконец, кто получает выгоду от того, что некоторые альтернативы даже не приходят на ум? Так нейрофизиологический спор о внутреннем хозяине неожиданно выходит за пределы черепа — к отношениям между людьми.

Наставник может воспитать вкус ученика, не лишив его возможности спорить; пропаганда может использовать те же привычки внимания, чтобы эту возможность подавить. В обоих случаях человек меняется под влиянием другого.

Поэтому одного факта внешней причины недостаточно для нравственного диагноза. Приходится спрашивать, была ли скрыта существенная информация, поддерживалась ли зависимость, была ли реальная возможность выйти из отношений, допускалось ли несогласие. Если мы не зададим этих вопросов, слово «манипуляция» начнёт обозначать вообще всякое воспитание, и перестанет помогать нам различать добро и зло.

Мастер, возвращаясь к своему ученику, может выбрать два способа передать искусство. Он способен потребовать точного повторения каждого жеста, пока ученик перестанет сомневаться. Или может научить его слушать различия и однажды возразить учителю. Во втором случае ученик не становится существом без влияний. Он получает дополнительные средства работать с влияниями. Это ещё не окончательный ответ о свободе воли. Но уже важное различие между воспитанием способности и изготовлением послушания.

У такого описания есть предел. Если память утрачена, если человек больше не узнаёт собственного имени, право говорить о нём от первого лица может измениться или стать недоступным. Из этого не следует, что его достоинство исчезает вместе со способностью дать автобиографический отчёт. Мы должны различать личную историю, осознаваемое чувство себя и моральную ценность живого человека. Иначе философия самости слишком легко превратится в несправедливый экзамен на способность рассказать о себе.

Непрозрачность собственных причин не делает человека чужим себе. Она заставляет точнее различать порыв, согласие и принуждение. Но всякое намерение имеет не только происхождение: ему ещё предстоит выдержать время.

ГЛАВА 4 ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ НАМЕРЕНИЕ?

Однажды человек решает выучить новый язык. Он покупает учебник, открывает первую страницу, произносит первые непривычные звуки. Можно ли сказать, что намерение возникло в магазине? Нет: возможно, оно появилось после разговора с иностранцем. Или раньше, когда он впервые слышал чужую речь в детстве. А может, сама мысль о языке существовала давно, но не имела силы превратиться в действие.

Намерение трудно удержать в одной временной точке. Оно может иметь предысторию, обретать форму, ослабевать, возвращаться, сталкиваться с другими намерениями. Иногда человек уверен в решении вечером и сомневается утром. Иногда не делает обещанного, хотя искренне хотел. Иногда делает то, что ещё вчера казалось невозможным. Если считать намерением только внезапный импульс, мы потеряем его развитие. Если считать намерением всю цепь причин от рождения до поступка, слово утратит границы.

Для начала различим стадии, не выдавая их за отдельные органы или универсальный закон. Сначала есть склонность: один исход притягивает сильнее другого. Затем желание может стать заметным и получить имя. Иногда человек связывает его с обязательством; иногда отказывается от него. На-

конец, действие встречается с миром. Границы размыты, порядок может меняться. Именно поэтому решение лучше исследовать как историю, чем искать в нём единственный волшебный миг.

Представь женщину, которая хочет написать письмо с извинением. Первое желание появляется внезапно. Затем приходит сопротивление: зачем унижаться? Спустя час она пишет несколько строк и удаляет их. На следующий день возвращается. И лишь через неделю нажимает «отправить». Какой из этих моментов — истинное решение? Ответ «в последний» кажется практичным, но оставляет за бортом неделю внутренней работы. Ответ «в первый» делает бессмысленными сомнения и изменения. Вероятно, намерение здесь было не предметом, а историей.

А история состоит не только из внутреннего. На неё влияет возможность связаться с человеком, прочитанная книга, услышанная фраза, телесное состояние, чьё-то присутствие. Мы не существуем в стерильной камере собственного разума. Мы меняемся, соприкасаясь с вещами и людьми. В этом смысле решение иногда рождается не «в мозге» против мира, а в отношениях человека с миром. Нейронные процессы необходимы для человеческого решения, но описание этих процессов не всегда исчерпывает то, о чём мы спрашиваем, когда говорим о примирении, обещании или достоинстве.

Однако и здесь следует избегать соблазна придать метафоре статус открытия. Слова «рождается между человеком

и миром» не обозначают обнаруженной отдельной физической силы. Они указывают на уровень объяснения, где значимы обстоятельства, цели и смыслы. Можно измерить мышечное усилие при рукопожатии. Но из одних единиц силы не узнать, стало ли оно знаком примирения или угрозы.

У любого намерения можно искать предшественника. Я хочу выйти на прогулку, потому что устал. Устал, потому что долго работал. Работал, потому что обещал закончить дело. Обещал, потому что хотел сохранить доверие. Хотел доверия, потому что когда-то узнал, как страшно его потерять. Каждое объяснение открывает ещё одно «потому что». Но из этого ещё не следует, что намерение исчезает, как только мы узнаём его историю. Наоборот, иногда оно впервые становится понятным.

Есть разница между началом и основанием. Первую мысль о прогулке мог вызвать запах вечернего дождя. Но основанием решения выйти станет желание поговорить с близким человеком. Причина появления идеи и причина, по которой ты её одобрил, могут различаться. Они могут даже противоречить друг другу. В голове всплыла мысль уехать, потому что стало невыносимо. Позднее ты уехал, потому что увидел возможность построить другую жизнь. Было бы неправильно объявить одно из этих объяснений ложью только ради единственной даты рождения решения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.